

МАГИЯ СЛОВА

(Игорь Киселев)

Паутинки в траве, предвестники осени, — как редко мы теперь отмечаем это для себя. И уж совсем редко встретишь человека, помнящего, что народ называл раньше эти серебряные нити позднего лета «богородицыной пряжей». В стихотворении о природе без такой вот «детали» нет настроения, нет завершенности. Я знал поэта, любившего в лирике это «чуть-чуть». Но мы тогда почти все были приучены к другой поэзии — громкоголосой, бурно рекламирующей себя.

Мне до сих пор кажется, что Игорь Киселев ушел из жизни неузнанным, не понятым по-настоящему. Может быть, потому, что жизнь его внешне была совсем простой. Я познакомился с ним в конце шестидесятых годов и читал все его книжки, по лишь недавно понял, что это был один из лучших, самобытнейших поэтов Сибири. После его смерти, такой преждевременной, когда перечитываю стихи, нет-нет да и придут на память слова А. Блока: «Сознание того, что прекрасное было рядом, приходит слишком поздно».

Почему в поэтическом мире Игоря Киселева всегда переходная пора — от лета к осени? О ней— лучшие его стихи. Никогда так не думается о времени, о жизни, как ранней осенью. Миг тогда просвечен полнотой жизни, в главном как будто завершающейся. Наверно, в августе и сложились вот эти слова:

Не спорь со временем бесстрастным,
Смотри на все издалека.
Есть привкус горечи в прекрасном,
И радость каждая горька...
Мгновенье, что ты?
Благо?
Иго?
Сон, всем нам снящийся века?
И есть ли что дороже мига,
Блеснувшего издалека?

Хотя в стихах поэта точная география, мы сразу понимаем, что не это самое важное в его поэзии. От конкретного события он всякий раз идет к самым общим вопросам жизни. ЗаклЮчить миг в долговременную, точную стихотворную форму — для этого нужен своеобразный дар. Даже пусть стоит июль, поэт уже замечает «обрывки паутин из хроники июля». Видит «первую желтую брошь» — лист с березы, удивляется и сожалеет: «Что ж ты так светишься, желтая прядь, парус прощания!» Но, сожалея, принимает эту раннюю убыль цветов и зелени: это ведь родные сибирские приметы. А, принимая, все же прощается — то ли с летом, то ли с этим «парусом надежды» на бесконечную жизнь, с которой мы все приходим в мир:

Счастье, как лодка на легкой волне,
Мимо неслось, ненадолго причалило.
Парус, мелькнувший в седой глубине,—
Нота прощания...
Что ж, попрощаемся, ветер и свет!
Были друзьями, дошли до отчаянья.
Все как всегда, только музыки нет —
Нота прощания.

Здесь не только грусть, но и очарование вечерающего дня, а он все длится и длится. Автору дан талант двойного зренья: видеть вечное в пролетающем миге и мимолетность ушедшего года. Он находит всюду приметы лада, но в душевной гармонии ему не удается быть долго. И все-таки «парус прощания») — он же и парус надежды:

Лету еще не пора догорать.
Рано в слезах сочинять завещание.
Что ж ты так светишься, желтая прядь.
Парус прощания!..

Творческий путь Игоря Киселева оказался коротким. Первый сборник стихов вышел в

1966 году, последний прижизненный — всего за год до смерти автора, в 1980-м. Игорь Киселев писал немного и успел опубликовать всего пять книг. А школа жизни? Деревенское послевоенное детство, служба в армии, пединститут и работа в газетах — опыт внешне не особенно разнообразный и даже как будто малооригинальный. Но важен ведь душевный опыт поэта, важно, как он видит привычное и, главное, умеет ли он видеть скрытое в привычном, примелькавшемся, может ли обновить паше виденье мира и углубить чувство природы.

Не будет преувеличением сказать, что исходные мотивы стихотворений и даже большей части сборников Киселева навеяны природой. Об этом говорят сами названия книг: «Перецвет», «Четыре дождя», «Ночные реки». Немало стихотворений, называемых обычно «пейзажной лирикой» и в сборниках, где ведущая тема — мир человеческих отношений или национальная русская историческая традиция: «Ярославна», «Человек приходит к человеку». Впрочем, они всегда рядом, почти в каждом стихотворении, не говоря уж о сборниках, отмечавших, так или иначе, этапы духовного роста поэта. О мире природной красоты, о доброте и жестокости, о нелегких уроках жизни были уже самые первые стихи Игоря Киселева. И от сборника к сборнику — картина душевного мужания и растущее мастерство обобщения, дающее философское звучание самым как будто обычным темам.

Перецвет — что это такое? Так назвал он свой первый сборник. Народ этим словом обозначил позднее, повторное цветенье садов теплой, долгой осенью. Такое случается редко — раз в пятьдесят лет. Попытка природы расцвести заново, пережить, перерешить жизнь как бы в новом варианте. Редкое чудо, подарок судьбы... или уловка перед большой непогодой? Ведь в природе за всяким отклонением от вековечного ритма следует расплата. И отсюда — чувство тревоги. Стихотворения первого сборника уже лишены идилличности и всепримирения мира как только вечной красоты. «Цветы упрямо ждали чуда, а надо было ждать беды... А на рассвете непогода уже шумела за дверьми, как будто плакала природа над неразумными детьми».

Сказать, что поэт говорит о вреде мечтательной доверчивости, будет внешне правильно, но недостаточно, поверхностно. Скорее всего, это — о вечных сложностях мира, играющего с человеком в перевертыши. Едва ли каждый увидит здесь обобщение, поймет философскую символику, а именно здесь видится исходная коллизия лирики Киселева. Красота кажется часто беззащитной, а зло как будто крепко ступает по земле. Но нет, силы зла недолговечны, а вера в чудо неистребима. Неистребима и красота, но как не просто различить в жизни чудо подлинной красоты!

Я бы с удовольствием назвал эту лирику философской уже по первым сборникам стихов, по что-то мешает. Что же? А вот эта детскость взгляда на мир, изначальная цельность. И еще — песенно-исповедальная тональность стиха. Она-то и не дает сразу ощутить глубину мысли. Ну что, казалось бы, сложного в «Песенке об одиноком фонаре»? А это образ поэзии, ее света — самоотдачи. Это и два кути, две «модели» человеческой жизни: «но один фонарь горит, а другой погас». Как можно всерьез принимать это признание в любви к уличному фонарю? А вот поди ж ты — принимаешь:

Просто кто-то должен быть
Рядом, свет любя.
Стоит ли гореть-светить
Только для себя?
Как дождинка в решето,
Я скачусь во тьму,
Если не шагнет никто
К свету моему.

Мне приходилось слышать мнения читателей, будто тема всей лирики Киселева — беззащитность красоты перед сложностями жизни. Пожалуй, это толкование многое спрямляет, упрощает в его образном мире. Но вопрос здесь затрагивается крайне важный. Я думаю, что поэт в первую очередь всегда имел в виду сложность человеческого мира и ту неоднозначную роль, которую в этом мире может играть красота. Урок сложности жизни, урок диалектики, хочется сказать, автор получил, думается, еще в детстве. Об этом говорит стихотворение «Конь» — картинка, явно извлеченная из запасников детской памяти. В нем важен контраст начала и концовки.

Как он шел, подлец!

Как он шел!
Как заря по нему стекала!
Бронзовела с отливом в шелк
Шея, выгнутая лекалом...
Неприступный — попробуй тронь! —
Статью хвастая незнакомой,
Подлетал к сельсовету конь
Представителя из райкома.

Сама по себе деталь хороша, живописна и заразительна, вот если бы тягостная картина первого послевоенного года не оказалась сильнее. Тогда, конечно, конь был бы безупречно красив. Он «в нетерпении танцевал, равнодушен к беде-напасти», «и хозяин, дороге рад, в ноздри дул ему, трогал холку». А в это самое время, рядом—«за бесценнок — за куль ячменной — уводил на базар коров год тот первый послевоенный». Как омрачает ясность детства эта парадоксально яркая картинка, и ведь чем она ярче, тем болезненнее действует на нас. Почему же? А потому, наверно, что память сохранила и взгляд клячи, которую в то время «люто бил водовоз кнутом», и взгляд самого водовоза, и взгляд всей деревни:

Долго, пристально, тяжело,
Вплоть до леса за выпасами,
Провожало его село
Непрощающими глазами.

Налицо жизненно-биографические истоки этой зоркости к сложным вещам, этой непрощающей памяти. В год окончания войны Игорю Киселеву исполнилось двенадцать лет. Чувство родства к людям, благодарности к тем, кому обязан жизнью, в его стихах остро необычайно, и это примета определенных трудных лот нашей истории. Но я не советую толковать стихи Игоря Киселева в чисто биографическом ключе: они несут не частные наблюдения, не зарисовки по случаю — они всегда обобщают.

В другом стихотворении — о друге-щенке, которого так хотелось научить «улыбаться» всегда и всем, — автор вдруг спохватывается: «без защиты остаться — беда... Пес начнет улыбаться громиле, станет руки лизать подлецу». Доверчивая открытость и доброта хороши, но часто бывают попираемы. Жизнь прекрасна, но мир человеческий, увы, еще несовершенен. Беззащитен человек, которому хотелось бы «сказочником, добрым и веселым» пройти по жизни. И потому, наверно, в лирике Киселева появляется окрашенная грустью теплая ирония, потому так ощутима печаль.

Вот картинка уже из ранней юности:

Село на трех дорогах.
Там, прихвастнуть не грех,
Я знаю все про многих
И многое про всех.
Там, прислонясь к частушке,
Бесстыж и в меру пьян,
У старенькой церквушки
Похаживал баян...
Там Катенька Смирнова
Любила одного!
А вышла за другого...
Но это ничего.

Вроде бы незатейливая песенка, но разве не создан здесь образ трижды переменчивой и обманчиво простой человеческой жизни? Время здесь — и тема, и внутренний образ, а это признак философичности, лирики. Но ведь философская лирика — это как бы зарифмованные тезис и антитезис, эти же стихи явно избегают «эссенции мысли». Философичность их безыскусна, ненатужна, она какая-то игровая. И не от книг она, а скорее от родственного внимания к природе и к людям. И, может быть, от детской доверчивости к тайне жизни, к возможности в ней чудесного.

Лирика Киселева — будь она о природе, о первой любви, о быте или трудности работы над словом — без натяжек современна. Но в нее непременно входят

«первовопросы» — о начале и конце жизни, об изменчивости мира и его стабильности. И она, пожалуй, осталась бы камерной, эта лирика, если бы вдруг, «на крутом вираже» не выходила к скрытому душевному плану жизни современника, не обращалась бы к теме большого мира и человека в нем.

Тема большого времени-судьбы редко дается стихотворцам. Двуединство бытия, изнанка и лицо, парадоксы изменчивого мира — эти темы как будто являются сами, желанны и легки они для Киселева. Пунктир собственной жизни человек видит в зеркале большого времени; «И, что горше всего и больше тревожит: оказалось, что завтрашний день уже прожит». Образом времени живут самые запоминающиеся стихи Игоря Киселева. И в них мне почему-то чудится блоковская интонация. А может быть, это блоковские концовки?

И все покажется напрасным,
И ты поймешь наверняка:
Есть привкус горечи в прекрасном,
И радость каждая горька...
И перед тем, как в путь пуститься,
Ты разомкнешь нелегкий круг

И эту трепетную птицу
С улыбкой выпустишь из рук.

Но что удивительного в этом сходстве? Учителя у поэтов бывают и далекие, и близкие. А я знаю, что Блок был кумиром Игоря Киселева не только в юности. Да, в стихах поэта, нашего земляка, та же контрастность мира, противоречивого, но ищущего гармонии. Блоковская высокая напевность и искренность — это есть тоже. Конечно, нет той предельной страстности, масштаба мысли, что сделали Блока единственным в своем роде поэтом. Конечно, мир Игоря Киселева не назовешь столь же разнозвучным, нет в нем и демонию чувства — беспредельности веры и глубины отчаяния. Но есть, в конце концов, то же приятие мира при всей его противоречивости, есть трагические тона, и есть просветляющая вера в лучшую сторону жизни.

Регистр чувств в стихах как будто даже понижен. Некоторым читателям они даже кажутся вяловатыми. Это — если не слышать в них мелодию, если читать их на бегу, поверхностно. А мелодия адресована самому сокровенному в каждом из нас, и тут мало культуры чтения — тут нужна несуетная душевная жизнь.

Поэзия ищет собеседника, а поделиться можно лишь с понимающим, близким. В стихах Игоря Киселева ощутима адресованность к другу-собеседнику. Ему можно поведать о том, что пора легких счастливых находок миновала, пришло время утрат и потерь. Нестабильность, переменчивость, неустройство сменили изначальную цельность и красоту мира. Об этом и ведется монолог-исповедь.

Все смешалось вокруг второпях, ненароком — То, что было достоинством, стало пороком....

Ухватился за ветку, а это не ветка —
Призрак, зыбкий фантом,
Дуновение ветра.
И вчерашнее утро, светясь от азарта,
Улетело с веселою песенкой в завтра.

А источник коллизий в этой лирике легко узнаваем. Есть вера в святость жизни, но автора беспокоит нарастание механистичности современного быта, убыль естественности. Противостояние земле бетона стало одним из ведущих мотивов. Возникает картина «закольцованности» жизни, истощающего силы бега на месте. Так входит в сознание тема разлада, разъединения с изначальным: «Простора сердце просит, простора, но увы — все круче нас уносит от почвы и травы». Все противоречия и разлады сошлись, таким образом, к одному самому главному пониманию:

И зов земли все глуше
На бешеном шоссе,
Где мчатся наши души,
Как белки в колесе.
Но вот порой весенней
Под ветра колдовство
Придет к нам, как спасенье,
Сознание того,
Что есть еще на свете
Среди других чудес
Обыкновенный ветер,
Обыкновенный лес.

В стихах Киселева встреча с лесом выпрямляет человека, лес оказывается «зеркалом души», помогает оценить самого себя:

Лес молчал, затаил свою речь,
Но молчал он как строгий судья:
Мол, а я себя смог ли сберечь?
Щедр ли я?
Бескорыстен ли я?

И это не праздные, не риторические вопросы. Герой погружается в жизнь природы, не только чтобы исповедаться — чтобы поверять этой жизнью, естественной и целесообразной, свою душу, подчас запутанную и мятущуюся.

Да, поэт постоянно подталкивает нас к восприятию природы как единственно

мыслимого храма. Говорил же когда-то М. Пришвин, что в березовом лесу влечет веселиться, а в сосновом бору — молиться.

Благоговением перед жизнью дышит стихотворение о лесе. Вглядимся и вслушаемся в него. В нем — объем, высота, луч, падающий сверху, гулкое эхо и высокое, поднимающее душу чувство.

Как слышится в лесу!
Заполнив чашу с верхом,
Мчит эхо па весу
По веткам, как по вехам!..
Как верится в лесу
В загаданное счастье!
Уйти в седьмом часу,
Оглядываясь часто.

Чудо природы выше всех чудес, В ней поэт ищет спасенья. Но не бегство это, а поиск гармонии и веры. Нет, не уйти, не скрыться от цивилизации, от века с его сложностями, и лирический герой спохватывается: «Только что ж ты ударился в бегство? — спросит совесть моя у меня». Наверно, поэтому герой книг «Четыре дождя», «Ночные реки» не хочет вести жизнь созерцательную, бездеятельную, предпочитает жить, «не себе принадлежа».

Ему удавалось, как видим, быть философом всемогущего времени. Но философскую мысль вытесняет мысль и забота злободневная: «Как будто бы за все, что безъязыко, подарен мне мой сбивчивый язык». Правда, прямые декларации, публицистические выпады в стихах Киселева не часты; он лирик элегического плана, но актуальность этих прямых обращений к современнику отчетлива, и они убедительны, точны: «Человек, богатырскою силой играючи, должен помнить про тихие жалобы заячьи».

Как это трудно — «быть в ответе за каждую песенку птичьей» и творить новую землю! Может быть, мы не успели задуматься над этим? Но здесь — призвание, главное дело современной поэзии. Из книжек Игоря Киселева вполне можно составить отдельный сборник стихов, полностью посвященный теме убыли, дефицита природы. И это будет точная по приметам времени и глубокая по мысли лирика. Вот здесь мне и видится главное, что оставил нам поэт. Кажется парадоксом, но ведь это реальность современной жизни: природа ждет от нас милосердия, пощады. Об этом — стихотворение «Молитва лани». Его не стыдно было бы включить в хрестоматию для детского чтения. Это именно молитва — обреченная природа взывает к не слышащему ее человеку. Монолог лани — мольба вернуть ей подлинную жизнь, ту, для которой она родилась:

Отпусти меня в лес, в кольцо
Быстрых рек, где трава и птицы!
Посмотри: на твое лицо
Тень от клетки моей ложится!

Это зов к человечности. Но не напрасен ли он? И многие ли из нас различают тоску в глазах зверей, запертых в клетки зоопарка, куда мы ведем детей развлекаться? Стихотворение имеет подзаголовок: «Из цикла «Стихи, написанные в Алма-Атинском зоопарке».

Прислушаемся: стихи, задуманные в большом зоопарке. В громадном зоопарке тысячи детей любят запертыми зверями и улыбаются, улыбаются им. А зверь вразумляет всемогущего человека:

Улыбается он, гляди!
Дети добры — и ланям видно.
Ты его сюда не води —
Любоваться страданьем стыдно.

Не так уж много здесь условности, в этом монологе лани. Так устроена жизнь, что ребенок пожалеет букашку с переломанным крылышком, но не различит боли безвинно и пожизненно заключенного в клетку зверя. А ведь сколько создано веселых, развлекательных стихов о зоопарке! В самом начале нашего века Леонид Андреев, прозаик, склонный к мрачным обобщениям, написал рассказ «Проклятие зверя» — тоже о

зоопарке. Невинно осужденный зверь проклял цивилизацию и самодовольного человека — вот что прочитал герой-рассказчик в глазах зверя. А у Игоря Киселева беззащитный и обреченный зверь пытается вразумить человека, намекая на нравственную глухоту «царя природы».

И вот искорка вспыхивает в большое внезапное прозрение: «Мне кажется, жалеют нас леса». За ними рождаются слова признания земле, благодарность — «за облака, за синий свет реки, за жалости окрепшие ростки, за то, что ты нас лечишь от тоски. Ты лечишь нас, а мы тебя калечим». Эта исповедь-покаяние — очень характерная для сибирского поэта лирическая форма. Это перечень наших прегрешений перед землей: леса, «наполненные птицами и снами», «пошли на дым и хлам», «сползает в реку аспидный ручей», «брать больше, чем давать, мы научились».

Стихотворения этого толка остались бы резонерскими, если бы не удивительная подлинность чувства боли, наполнившая их. Именно его, сыновнего чувства, так не хватает современным людям, привыкшим видеть в природе только сырье, мастерскую или кладовую. Как будто только для нас жила земля, копила и хранила богатство и красоту миллиарды лет, чтобы люди, явившись, дали волю своему необузданному аппетиту. «За жизнь, земля, тебя благодарю, благодаря, раскаяньем горю», — признается автор, суммирующий беды земли. Им движет чувство вины перед жизнью, породившей нас, людей:

Прости, земля!
Пьянея от побед,
Мы мало ценим твой высокий свет.
Без нас жила ты миллионы лет —
Мы без тебя не проживем и года.

Поэт полагается на природу в самих нас: она откликнется живому. Загнанный охотниками лось рванул к детям, чтобы они спасли, заслонили от вооруженных до зубов и безжалостных преследователей, от ревущих машин, от бухающих ружей. И дети его приняли, «единственные не звери» спасли обреченного. Но кем же завтра станут они? Ведь во взрослом мире стала обычаем детская беспечность по отношению к земле. Вдруг, став юношами, начнут палить из любопытства, по «праведной птице», дятлу, как показано в стихотворении «Дятел»?

Так что же получается — сожаление, раскаяние и отречение от цивилизации? И ни слова о прогрессе? Нет, не так просто, не так прямолинейно, как в школьных прописях. Здесь вся задача состоит в том, чтобы сохранить чувство меры, не впасть в огульное отрицание или безудержную хвалу прогрессу механизмов. Если речь о черном снеге, об отравленной реке, о сведенных под корень лесах, — а их можно было хотя бы на треть сохранить, — если о воздухе, которым все труднее дышать, то, конечно, здесь уместнее будет раздумье. Здесь надо взывать и к разуму, и к чувству, здесь сами собой просятся не столько философские мотивы, сколько публицистические, гражданские. Именно таковы они в лирике Игоря Киселева, а их цель — сломать инерцию благодушного отношения к будущему: оно не образуется само собой, не поправится как-нибудь. Лучшую свою книгу, последнюю, а значит, самую зрелую, поэт начал стихотворением «Быть в ответе». Говорить в тютчевской и фетовской интонации о природе, храме красоты, вечном доме, в наше время было бы безответственным естеством. Так в мир лирических раздумий, в этот элегический настрой врывается точное, почти газетное слово, но, пожалуй, оно не покоробит самого утонченного вкуса. Мы уже верим поэту и понимаем, что такое слово вызвано острой необходимостью:

Крепнет сила людская,
Растет год от года.
Что ни день, умножается знаний запас.
И не мы теперь милостей ждем от природы,
А давно уже ждет их природа от нас.

Таково требование современной экологической этики: благоговейно относиться ко всему живому.

Сминая миллионнолетнюю жизнь вокруг, мы духовно калечим самих себя да еще и обездоливаем судьбы отдаленных потомков, которым жить на этой земле. Лишать землю нажитого ею до нас, ну не разбойное ли это дело?

Но много ли проку в сожалениях? Что может поэзия, зачем бьет она в колокол, если не от нее зависит судьба ручьев и рек? Разве спасешь леса песней? Встречаешься иногда и с таким мнением: что, мол, толку беречь наболевшее, легче, что ли, от этого? Не можешь помочь — помолчи, — так иногда думают практичные люди. Это капитуляция перед обстоятельствами, за ней придет, того и смотри, признание законности сложившейся ситуации. Как тут не вспомнить героя Л. Леонова, который советовал не размахивать неприлично руками, а замолчать и «зарыться поглубже», раз уже идет повсеместное и неудержимое наступление на леса! Благомыслящий мещанин, понимающий, что потрепать можно лишь за счет природы, не поймет поэта. Не поймет его и черствый практик, наследник Базарова, считающий, что природа — мастерская, и ничего кроме того нет. Практицизм не любит, даже не терпит рядом с собой поклонения земле, тем более — вот этого покаяния. Так не забудем же, где прозвучала «молитва земле», — в большой мастерской, где базаровщина, было время, проявила себя в крайних пределах.

Чем же должна питаться надежда, чем может жить душа, если ничего не остается от храма природы? Если восстановление первоначальной среды более чем сомнительно?

Настоящая поэзия, а мы сейчас имеем дело именно с такой, измеряет жизнь самым насущным критерием — человечностью. И нет сейчас на земле негуманитарных проблем. «Быть в ответе»... Поэт верил в силу слова. Ведь только слову дано проникать в самые глубины, в тайники сознания, и оно, слово, — оружие совести. А в незасоренной совести — залог бессмертия человека на земле. Без нее зачем и прогресс? Это значит: ничто не окончательно, все решает наша ответственность перед будущим. Так что не только позднее сожаленье и — «переверни страницу». Эту ответственность за дерево или за птенца в гнезде бесполезно ведь насаждать инструкцией. Если не проникло в самые капилляры сознания, не воспитано с детства, разговор останется разговором, сотрясеньем воздуха.

Да, многие из нас отвыкли чувствовать себя частью земли, забыли, что и сами-то — часть природы. Однако поэт верит: человек «вздрагнет от счастья, почувствовав жажду земли». Прозренье не принесет ему счастья сразу, но обратит на поиски его, и в этом залог искания, начало пути. Ново и современно в лирике Киселева, пожалуй, то, что форма почти каждого стихотворения о природе — тихая песня. Конечно, только условно можно назвать одни стихотворения песней-гимном, другие — песней-исповедью. Почему же столько названий, настраивающих па песенный лад? «Тихая песенка», «Песенка про великого неудачника», «Песенка об одиноком фонаре», «Очарование песен старинных»... А еще «Музыка нашего детства», «Музыкальная шкатулка» и тому подобное. Игорь Киселев начал печататься, когда становились известными имена поэтов-бардов. Некоторая романтическая приподнятость, порой веселая странность, причастность к небывалому — это заметит каждый, хотя бы пролистав книгу «Ночные реки». Ее лад и чем-то схож с песенно-романтическим миром Новеллы Матвеевой. Но он лишен экзотики и, несомненно, трагичнее.

Стихи Игоря Киселева ждали и дождались композиторов. правда, пока лишь самодеятельных. «Песенку об одиноком фонаре» я впервые услышал лет тринадцать назад в Томске на состязании самодеятельных композиторов и певцов. Автора стихов тогда никто там не знал. А недавно довелось услышать » песенной интерпретации «Мариинск», «Голубые кони», «Сказочником добрым и веселым...», «Лету еще не пора догорать». Стихи стали частью жизни молодежи, дошли до адресата.

И все-таки песенность мне не кажется главным качеством стихов, и говорю я о ней, чтобы указать на широту палитры автора «Оды мгновению». Конечно, не всеми красками он владел в равной мере свободно. Он все-таки прирожденный лирик элегического плана. Но лирика эта и многотемна, и многоголоса. Иногда появляется то, что называют лирической дерзостью: мысль вдруг взмывает к высотам условного обобщения и не проигрывает при этом в доверии читателя.

Но, мерцаньем снов крылатых
Обступившая меня,
Ночь легко сминает в лапах
Хрупкий колокольчик дня.

Картины природы — это подступ к теме родины, к образу обжитого предками пространства, ставшего пашей национальной судьбой. Индивидуальный, поначалу даже

кажется уединенный путь поэта ищет слияния с путем парода. Хорошо это выразилось в стихотворении «Ударит ветер, вдоль столетий вея...» В нем — та непереваемая русская печаль, какая осталась в колыбельных песнях, но это печаль просветляющая. В другом стихотворении, патриотическое чувство испытывается самым сильным средством — безмерным временем:

А я опять о пей, о тьме времен,
О тех, кто жил до нас на белом свете,
И голоса исчезнувших племен
Звучат во тьме сквозь плен тысячелетий...
Опять волненья не могу сдержать —
В такой любви не признаются с ходу, —
Какая это честь — принадлежать
К огромному и смелому народу!

Масштаб темы требует иной интонации, голос поэта становится громче, и в нем слышны уже ораторские тона. Но, бывает, этот тон сразу же сменяется иным — тихим признанием, в которое прорывается неподдельная боль:

Оторвались от ясного ручья,
Забыли, как равнина пляшет рожью...
И, может быть, совсем напрасно я
Всех в этом обвиняю и тревожу?
На родине стога.
Над родиной туман,
И сердце бьется сильно, даже слишком,
Как будто только что в росе поймал
И выпустил с ладони воробышку.

В стихах Игоря Киселева — и малая, и большая Родина. Сибирь — ее часть... Огромный обжитой мир. Тайги в его стихах нет, есть русские леса. Тепло, сыновнего чувства таежная глухомань в нем не вызывает. Для этого ведь надо родиться и вырасти в избушке охотника-таежника. А Игорь Киселев родился и рос на Алтае, в предстепье, там искони поют песни пахарей.

Одна из граней Большого Времени, главного образа в лирике Киселева, — время историческое. Оно всегда окрашено личным чувством, в стихах виден интерес к темам историческим. Да, без конкретного и личного чувства Родины нет настоящей патриотической лирики. Она потому так и трудна: не терпит общих слов.

В его лирике образ мира не шумного, но и не захолустного — это русская глубинка. И в пей особенно дороги поэту, особо чтутся им шедевры народного искусства, будь то сказка или памятник деревянного зодчества. Поучение о равенстве красоты и пользы предки написали для нас деревянными узорами — так считает автор стихотворения «Мариинск».

Я по Родине бродить не устану,
Но в душе храню, как искорку света,
Этот сказочный цветок деревянный
На закате деревянного лета.

Тем и восхищают его мастера, заставлявшие дерево излучать радость, что видели они в деле не одну прямую пользу, но и красоту, творили не только для себя. Дом ведь стоит и тогда, когда никто уже не помнит имени строителя. В такой «деревянной сказке» проживут поколения людей, жизнь и песня не будут враждовать, дышать будет легко и петься в таком жилище будет без усилий. Есть польза и от песни:

Рассуждали мастера неторопко,
Не спешили приниматься за дело.
Чтобы дом — так был бы дом, не коробка,
Чтоб душа в нем отдыхала и пела.

Сказка народная — кладезь ума для следующих поколений народа. Поэт родился в деревне, и его влечет сказочно-легендарное и песенное начало в фольклоре. Сказки помогали формировать духовный мир поэта, изначально порождали чувство Родины,

закладывали основу нравственности, народную по своей природе:

Я рос. Они со мною вместе,
Казалось, мудрые росли,
Уже о мужестве и чести
Они со мною речь вели...
Росою синею — Россией —
Тропа заросшая вела,
И доброта была в них сильной,
И сила доброю была.

Но сказка — не только учитель детства. Она не уходит вместе с детством, а сохраняет свое учительское значение на всю жизнь:

Не гаснет свет.
Не меркнут краски.
И в мире буден наяву
Меня все так же учат сказки
И мужеству, и мастерству.

А оно, мастерство, противостоит неумолимому времени, беспамятству, будит в нас тягу к лучшему, показывая несовершенство привычной жизни. И вставал за мастерами «город, как песня, да такая, что сердца замирали»; «Уходили мастера, умирали, по бессмертно мастерство и нетленно».

Поэт сверяет свое поведение с народным пониманием творчества как наиважнейшего дела жизни. Оставить по себе память неизгладимую... Изначально и неистребимо это стремление в творческом человеке — не подчиниться течению времен, сотворить для Родины такое, что остановит забвенье. Мысль о призвании поэта слилась с темой Родины. А строй стиха неизбежно связан с представлением о назначении поэта на земле.

Но ведь мастерство поэта — это и умение превращать печаль в песню. Это путь на перекресток всех ветров, это потребность чужие трагедии сделать своими, личными. Поэт как будто берет па себя вину за неуютность людского быта, чтобы научить нас рвать с собственными вчерашними обольщениями. «Твой путь по бумаге огромен. Ты вышел. Ты нищ и бездомен. Что толку в достатке и доме, когда ты у всех на ладони?».

Как я не раз убеждался, пронзительнее всех других действуют на читателей стихи о Василии Шукшине и Владимире Высоцком, написанные Киселевым незадолго до кончины. Очень уж трагично и лично понятны им обе эти жизни. Настолько лично, что кажется: автор предсказывает и собственный путь. Ведь и сам он не дошел до положенной ему вершины.

И недолгим таким — не с тоски ли? —
Был рассвет его в нашем краю,
Что все беды, все судьбы людские
Пропускал он сквозь душу свою?

Это сказано о Шукшине, но разве только о нем? Тут скорее понимание участи писателя, художника «милостию божьей». Да, тут судьба, добровольно выбранная тяжкая ноша: не может стать подлинным поэтом человек, готовый захлопнуть створки своей души от шума жизни, от нервных перегрузок.

Поэзию он сам назвал «неотложной службой души». Порой она необходима, как глоток чистого воздуха. И что же встретит человек, нашедший, наконец, на бесчисленных стеллажах нужную ему книгу стихов?

И повеет простором и далью,
Безутешной чужою тоской,
И слетит со страниц состраданье,
Прикоснется прохладной рукой.
Только строки любимые вспомнишь —
И поймешь, их дыханьем согрет,
Что поэт — это «скорая помощь»,
Если он настоящий поэт.

Именно это чувство овладевает мною, когда открываю книгу «Благодарю, земля,

благодарю», посмертное издание лучших стихов Игоря Киселева. Поэзия в перенаселенном мире оставляет уголок приюта для тайны. И это «парус надежды» па вечное творческое приобщение к земле. С тишиной к нам возвращается что-то, казалось, уже совсем забытое, — таинство природы и жизни. Когда шумный поэт кричит: «Тишины хочу, тишины!», мы сочувственно киваем: очень, мол, своевременно. Но вот является поэт, в чьих стихах — простор и тишь вечеряющего дня... и мы не сразу узнаем эту тишину: отвыкли. Случай, конечно, не единичный. Таким было явление Николая Рубцова, Прасолова. И не случайно: этого требовало само время — ведь кто-то должен напоминать нам о детских кольцах души, оставшихся под корой практицизма.

Нынешние читатели, особенно молодые, привержены к громкому слову, ценят размашистые мазки, а не тонкие линии. Немало появляется сейчас «слепых и глухих» стихов — разучились видеть и слышать природу «дети громыхающего века». Взамен разлилось море мнимо интеллектуальной версификации, вторичной по образности. Но время все ставит на свои места. Все ближе и понятнее становятся слова Н. Заболоцкого, умевшего созерцательный стих сделать предельно емким по смысловой нагрузке: «Умный читатель под покровом внешнего спокойствия отлично видит все игральное ума и сердца».

Мне кажется, что Игорь Киселев и сам понимал свои способности, возможности, отпущенные природой. В стихотворении «Спор, которого не было», он отмечает обвинения воображаемого оппонента в недостатке вымысла, яркости и внушительных гипербола в его стихах: «А пашу давным-давно я тяжко и пишу неровно и непросто. Но чужая яркая рубашка не по нраву мне и не по росту». Взяв внешне невыигрышную, малозанимательную тему, он пошел встречь литературному потоку и остался верен своей манере до конца. Теперь вновь ценится лирика традиционная по слогу, а современность стали опознавать не по внешним только приметам.

Цельность жизни видна только по завершении пути. «Неласковым бывал я и недобрым, но никогда не причинял я зла», — признается поэт. Больше всего меня в этих стихах влечет ясность, просветленность, наступающая после душевной невзгоды. Нота поэта нам видна лишь в малой степени: немало привычного, и все-таки образ мира своеобразный. Об этой ноше -призвании он говорит просто: «Судьба, обязанность, работа», «всякий труд становится искусством в умных и внимательных руках». И сам же опровергает простое и обыденное понимание буквально в следующем стихотворении — образом растворенности во всем и причастности всему: «Но был я и лесом, и полем, и птицей, летящей к реке».

Неминуемо тают страницы книги, в которой — исповедь земле. А лучшие стихи—в конце, в месте обрыва монолога. В каждом стихотворении мир узнан и окликнут заново.

Над белой бумагой снова
Споткнусь, потрясенный, с разбега...
Ведь белая магия слова —
Как магия белого снега.

Это образ творческой воли: на белой пороше остается след, который самому уже не изменить — им ведает время.

Мысль о неистоцимом, о не знающем меры Времени. И воля противостоять ему словом. Бот отчего, наверно, привиделся мне этот «вечерний день» и серебряные нити в траве. День и час поворотный, нескончаемый. Это останется во мне навсегда. Это будет жить и тогда, я уверен, когда видевших Игоря Киселева не останется. И это он, кажется, предвидел:

Уйду,
Но в той песне останется
Все то, что дышало во мне:
Как дерево к радуге тянется,
Как радугу клонит к земле.